

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИЧЕНКО • МАРИНА МНИШЕК

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

ТУМАННЫЙ БЕРЕГ

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ • ЧАСТЬ I



2026

Дмитрий Колесниченко

**Непростые дети. Каменные
стены I. Туманный берег**

«Автор»

2026

Колесниченко Д.

Непростые дети. Каменные стены I. Туманный берег /
Д. Колесниченко — «Автор», 2026

Всю жизнь их учили одному и тому же, тремя словами: молчи, притворяйся, не показывай. Старшая берёт в руки чужую вещь и узнаёт, кто её держал. Младшая слышит мысли – как радио, которое сложно выключить. Отец знает всё заранее и никогда об этом не говорит. Мать не умеет ничего, но одна держит всю семью. Осенью 2007-го Голубевы уезжают из России целиком – с пельменями, зелёной тетрадью и выцветшим стикером «Мы обычная семья», который мать перевесит на шотландский подоконник в первый же вечер. Эдинбург: серый камень, бесконечный дождь и единственная в мире кафедра парапсихологии, где паранормальное изучают за зарплату. Здесь наконец можно не прятаться. Через месяц старшая поймёт, в чём подвох: пока тебе не верят, тайна принадлежит тебе. Как только поверят – тайна начинает принадлежать всем, а значит перестаёт быть тайной.

Содержание

Непростые дети. Каменные стены I. Туманный берег	5
Пролог	6
Глава 1. Первый день на кафедре	15
Глава 2. Закон Ментализма	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Дмитрий Колесниченко

Непростые дети. Каменные стены I. Туманный берег

Непростые дети. Каменные стены I. Туманный берег

Всю жизнь их учили одному и тому же, тремя словами: молчи, притворяйся, не показывай. Старшая берёт в руки чужую вещь и узнаёт, кто её держал. Младшая слышит мысли – как радио, которое сложно выключить. Отец знает всё заранее и никогда об этом не говорит. Мать не умеет ничего, но одна держит всю семью.

Осенью 2007-го Голубевы уезжают из России целиком – с пельменями, зелёной тетрадью и выцветшим стикером «Мы обычная семья», который мать перевесит на шотландский подоконник в первый же вечер. Эдинбург: серый камень, бесконечный дождь и единственная в мире кафедра парапсихологии, где паранормальное изучают за зарплату.

Здесь наконец можно не прятаться. Через месяц старшая поймёт, в чём подвох: пока тебе не верят, тайна принадлежит тебе. Как только поверят – тайна начинает принадлежать всем, а значит перестает быть тайной.

© Дмитрий Колесниченко, Марина Мнишек, 2026

Пролог

*«Всякое путешествие начинается с того, что вы ещё не знаете, куда именно идёте» –
Джон Стейнбек*



Дом на Балерно-роуд, 14, встретил их так, как встречает старый человек, которого разбудили среди дня: без обиды, но и без особой радости, приглядываясь, кто это к нему приехал и надолго ли. Дом стоял в конце улочки городка Карри, серый, каменный, приземистый, с красной дверью, слишком яркой для этого камня, и с кустом шиповника у забора, до того мокрым, что тёмно-зелёные листья казались лаковыми. Шёл дождь, и не тот дождь, который начинается и кончается, а шотландский, мелкий и косой, который не идёт, а просто есть, как воздух, как серый свет, и останавливаться явно не собирался ни сегодня, ни, судя по всему, до самого конца августа.

Тая вышла из машины первой и на секунду замерла посреди дорожки, подняв лицо к небу, которого, в сущности, не было: вместо неба над крышами висела ровная серая пелена, положенная низко и, похоже, надолго. Пахло мокрой шерстью её же собственного свитера,

каменной пылью, которая, как оказалось, имеет запах, и морем, до которого отсюда было двадцать минут на машине, но ветер приносил его дыхание даже сюда, в тихий пригород, где не было ни чает, ни причалов, ничего, кроме одинаковых серых домов и живых изгородей. Тридцать часов без нормального сна стояли в ней ровным гулом, во рту держался вкус самолётного кофе, а ноги после дороги были чужие и слишком длинные. Она стояла и слушала не ушами, а чем-то внутри, что обычно слышит приближение грозы, но сейчас оно молчало, ровно и спокойно. За двадцать лет Тая научилась такое молчание ценить и не трогать: оно кончалось само, всегда неожиданно и всегда не вовремя.

Их было четверо, и они выгружались из машины в том порядке, в каком делали почти всё в жизни. Катя, единственная в семье без всяких способностей и от этого, как она сама говорила, самая нормальная, первой оказалась у багажника, безошибочно вытянула из десятка сумок ту, в которой лежало нужное именно сейчас, и пошла к двери, на ходу решая, что где будет стоять. Таня, которой через две недели исполнялось девятнадцать, выбралась следом, поморщилась и потёрла висок, поводя головой, как поводят настройкой у радио, поймавшего одну сплошную пустую полосу. Дима, немногословный, но попадающий словом точно в цель, вышел последним, встал у открытого багажника и оглядел дом взглядом юриста, принимающего дело к производству.

– Ну? – спросила Катя из-под сумки. – Вердикт?

– Жить можно, – сказал Дима.

– Пятнадцать лет юридической практики, так что без сюрпризов, – сообщила Катя мокрому шиповнику и понесла сумку дальше.

– Мам, ступенька, – сказала Тая ей в спину.

– Вижу.

– Ты её увидишь через полшага после того, как об неё споткнёшься.

Катя не споткнулась исключительно из принципа. Таня осталась под дождём с рюкзаком на одном плече и задрала голову к небу, молчавшему, как радио без батареек, с таким видом, будто собиралась предъявить претензию, но не знала кому.

– А это надолго? – спросила она.

– До конца августа, – сказал Дима, не отрываясь от коробок.

– Это прогноз или ты просто хочешь, чтобы я перестала спрашивать?

– Это дождь, и он шотландский, – ответил Дима.

Таня посмотрела на отца долгим взглядом человека, который сто раз перепроверял и ни разу не поймал на лжи. Отец умел молчать на всех языках мира. Сейчас, надо полагать, молчит на шотландском.

– Когда-нибудь ты ошибёшься, – пообещала она, – и мы устроим праздник, купим шарики.

– Хорошо, – сказал Дима и взял следующую коробку, и по спине его было видно, что шарики он оплатит, но покупать их не придётся.

Тая подтянула рукав свитера на ладонь и толкнула калитку через шерсть, привычкой, начала которой не помнила. Обо всём этом в семье знали давно и обращались с этим, как обращаются с семейным серебром: доставали редко, чистили молча, никому не показывали. Тая брала в руки старую вещь, и вещь начинала рассказывать, чьи пальцы её держали, в каких комнатах она лежала, что видела, поэтому правила у Таи выросли раньше, чем объяснения: не хватать, не любопытствовать, чужого не трогать даже взглядом. Таня слышала чужие мысли и всю жизнь училась не показывать, что слышит. Обоем всю жизнь говорили одно и то же: молчи, притворяйся, не показывай. Таня называла это семейным гимном и уверяла, что под него можно маршировать, и Катя всякий раз отвечала «не смешно» тем голосом, каким говорят «смешно, но не при детях», забывая, что играть этот гимн всю жизнь приходилось как раз детям.

А потом – самолёт, посадка сквозь три слоя облаков и единственный на свете город, где именно этому учат за зарплату: кафедра Кёстлера при Эдинбургском университете. Слово «насовсем» Тая всю дорогу примеряла, как чужое пальто, и пока оно не сходилось на груди. На семестр уезжают вдвоём и с одним чемоданом. Они прилетели вчетвером, и дом ехал следом в коробках.

Тая задержалась на дорожке с последней сумкой и вдруг увидела своих со стороны, так, как увидел бы их сосед из-за занавески: немолодая женщина под дождём затаскивает вещи в дом, ещё не знает, где выключатели, но делает это быстро, чтобы не успеть подумать; мужчина у багажника пересчитывает коробки с книгами, половина которых с сегодняшнего дня годится только на то, чтобы стоять на полке, потому что законы в этой стране другие и учить их придётся заново, в сорок три, на чужом языке, с чужой манерой пожимать руку. И всё это из-за двух непростых девчонок, у которых с головой что-то не так, как у других. В мокром свитере Тае стало жарко, в горле встало что-то плотное и неудобное, и она поняла, что сказать этого нельзя ни одному из них: мать отшутится и обидится, отец промолчит так, что станет хуже. Поэтому она молча взяла из багажника самую тяжёлую коробку, ту, что мать заранее приготовилась тащить сама, и понесла её к дому, потому что говорить было нельзя, а нести можно.

Но это будет завтра, подумала Тая, а сегодня надо разложить вещи, найти чайник и понять, где тут спят. Она пошла к двери, в которую Катя уже входила спиной вперёд, командуя из тёмной прихожей, куда что ставить, и голос её в пустом доме звучал по-хозяйски, как будто они жили здесь уже не первый год.

* * *

Кухня была чужая, и Катя принялась делать её своей раньше, чем признала Шотландию своей страной. Она изучила пространство за первые полчаса, как разведчик изучает местность: четыре розетки, все с собственными выключателями, которые надо не забывать щёлкать, иначе электричества в ней не будет, и первые полдня в этой стране Катя провела в спокойной уверенности, что чайник ей продали неисправный. Духовка оказалась незнакомой марки, с делениями от единицы до девятки вместо честных градусов. Краны шли раздельно: горячий обжигал, холодный ломил зубы, и получить просто тёплую воду можно было единственным способом, лоя её ладонью между двумя струями.

– Чайник сломался, – сообщила Катя после третьей попытки, обращаясь ко всем сразу.

– Мам, там выключатель, – не останавливаясь, сказала Таня, проносившая мимо подушку. – На розетке. Красненький.

– Откуда ты знаешь?

– Оттуда, что на нём написано «ON».

Катя щёлкнула, чайник загудел, и она честно призналась себе, что первой её мыслью было не «выключатель», а «дар». Годы жизни в доме, где половина обитателей знает всё заранее, портят логику быстрее любого суеверия.

– Дим, – крикнула она в коридор, разглядывая ручку духовки. – Что такое пять?

– Между четырьмя и шестью, – отозвался Дима откуда-то из-за коробок.

– Спасибо. В доме два юриста, и ни одного человека, умеющего обращаться с духовкой.

Из-за коробок в коридоре коротко хмыкнули, и это следовало понимать как «замечание принято к сведению».

Единицу от девятки отделяли семь делений и никаких объяснений: духовку предлагалось не настраивать, а оценивать по девятибалльной шкале. Катя поставила ручку на шестёрку, потому что шесть – приличная оценка, и оставила её думать над своим поведением.

– В каждой избушке свои погремушки, – сказала она вслух, обращаясь к дому, мирно, как здороваются с новой соседкой. – Ничего, разберёмся и с твоими.

«А мыться, значит, буду в два приёма», – постановила Катя и внесла это в мысленную карту, где уже лежали адрес, дорога до магазина, незнакомые сорта муки и тот факт, что молоко здесь льют, кажется, вообще во всё, кроме привычной упаковки. Карта росла, пункт цеплялся за пункт, и ничему другому места в голове не оставалось – способ был проверен Москвой, годился здесь и, надо полагать, сгодился бы на том свете.

Она разложила столовые приборы по ящикам, в первый сверху, как дома, чтобы рука сама тянулась куда привыкла, сунула кастрюли под плиту, определила полку для чашек, а потом замесила тесто. Ничего разумного в этом не было: чемоданы стояли неразобранные, кровати не застелены, в доме не нашлось ни скалки, ни второй тарелки, и любой здравомыслящий человек заказал бы что-нибудь готовое. Но ещё в Москве, заклеивая последнюю коробку скотчем и слушая, как в пустой квартире отдаётся каждый звук, Катя решила, что на первый ужин в новом доме будут пельмени, и никакие раздельные краны этого решения не отменяли. Скалку заменила бутылка, дно стакана вырезало круги ничуть не хуже, чем в Самаре тридцать лет назад, и на чужой столешнице выросли ровные тесные ряды, от вида которых у неё впервые за сутки отпустило тянущее чувство между лопаток.

И только тогда она позволила себе то, ради чего она и торопилась с кухней. Катя достала из кармана куртки маленький свёрнутый бумажный квадратик, положила на стол и расправила его двумя пальцами, осторожно, начиная с середины и разглаживая к краям, с неким трепетом и уважением, что он пережил уже не один переезд. Стикер был жёлтый, когда-то ярко-жёлтый, а теперь выцветший до цвета старой сметаны, с загнутым углом и полосой от прежнего клея по краю. Три слова, синей ручкой, её собственным круглым почерком: «Мы обычная семья».

Катя лизнула край, где клей уже не держал, прижала стикер к подоконнику и подержала ладонь, считая про себя до десяти, потому что бумага была старая и с первого раза не бралась. Ладонь была мокрая от теста, и на десятой секунде до неё дошло, что она стоит на чужой кухне в мокрых носках и держит рукой бумажку, будто от этой бумажки что-то зависит. Остальные в доме умели то, чего она не умела и она никогда не поймёт всего до конца, как не понимает слепой разговоры о цветовых оттенках. У неё был вот этот квадратик, как напоминание, что даже с непростыми детьми они остаются обычной семьёй. Она досчитала до десяти и убрала руку.

Потом отступила на шаг и посмотрела. Из окна был виден мокрый куст шиповника, серый забор и серое небо, и на этом сером фоне три выцветших слова выглядели одновременно смешно и упрямо, как флаг, который водрузили не на вершине, а на кухонном подоконнике.

В дверях остановился Дима с коробкой книг на плече, посмотрел на стикер, потом на жену.

– Держится, – сказал он.

– Держится, – согласилась Катя.

Правдой эти слова не были никогда, и оба это знали. Катя поправила уголок, чтобы не загибался, и разгладила стикер ещё раз, хотя он уже держался за новое место. Потом включила чайник, и тот щёлкнул совершенно по-московски, будто и не улетал никуда, и принялся привычно кипятить шотландскую воду.

* * *

Комната, которой ещё предстояло стать настоящей комнатой, пока была просто пространством: три коробки у стены, скатанный матрас и голая лампочка под потолком, светившая так честно, что от неё хотелось отвернуться. Таня села на пол, привалившись спиной к коробке, подтянула колени и впервые ничего не стала делать – ни тащить, ни распаковывать, ни отвечать. И вот тогда она услышала, что здесь тихо.

Тихо было неправильно. Не так, как в комнате с закрытой дверью, а так, как бывает, когда снимаешь наушники, в которых десять лет подряд играло радио, и обнаруживаешь, что у тишины есть собственный звук, довольно неприятный. В московской квартире стена за её кроватью всегда была живая: кто-то считал, кто-то злился, кто-то повторял про себя, что скажет завтра начальнику, и всё это шло сплошным тёплым гулом, от которого к вечеру ломило виски и который Таня искренне полагала, что ненавидит.

Оказалось, под него удобно было существовать.

Она сделала то, что делать себе давно запретила и всё равно делала: закрыла глаза и повела головой, как ведут ручкой настройки. Внизу мать думала на четыре задачи вперёд, коротко и по-хозяйски, и мысли её были знакомые, как своя же кухня в темноте. Отец был отцом: там, где у других людей идёт бесконечный разговор с самим собой, у него было тихо и спокойно, короткие тёплые мысли, разложенные по местам, и изредка в этой тишине, как ключ в замке, что-то поворачивалось. За стеной Тая распаковывала книги, и от неё шло тепло, как от батареи, – мягкое и родное. Дальше начиналась улица.

А на улице не было ничего.

Она напрягла слух, как вытягивают руку в темноте: за дорогой кто-то за занавеской лениво прикидывал, стоит ли выходить под дождь ради литра молока, и додумывать не стал, потому что дождь отбивал желание даже додумывать. Ещё дальше, улицы за две, катился почтальон и думал про ужин, и это была самая содержательная мысль в радиусе полукилометра. Всё. Полторы мысли на квадратный километр. В Москве столько приходилось на одну маршрутку, причём даже не заполненную.

– Ну ладно, – сказала Таня вслух. – Хоть кто-то тут ужинает.

Голос в пустой комнате прозвучал громче, чем она рассчитывала, и стало смешно и нехорошо одновременно. Акустика, отметила Таня. Прямо хоть кричи что-нибудь пафосное, крик души, например, – только на крик души эхо не отвечает. Она всю жизнь мечтала, чтобы выключили звук. Звук выключили, и выяснилось неприятное: под гулом было удобно прятаться от себя, а теперь слушать пришлось себя, и к этому жильцу у неё накопились вопросы. Впервые, сколько она себя помнила, в голове было тихо, и от этой тишины слегка мутило, как в лифте, который слишком быстро пошёл вниз.

В дверном проёме встала Тая, боком, с книгой в руке.

– Ты чего на полу?

– Пол отличный. Ровный, и на нём тишина.

– Слушала, – сказала Тая, не спрашивая, и опустилась рядом.

– Слушала.

– И как?

– Никак, – Таня подняла на неё глаза. – Тут пусто как в новом холодильнике, который не включили в розетку и не наполнили продуктами.

– Тут просто мало людей.

– Это одно и то же, если посмотреть с другой стороны.

Сестра не стала спорить, что вообще-то было её любимым способом соглашаться, и они посидели молча, слушая, как внизу мать хлопает дверцами шкафов. Потом снизу донеслось долгое «пельме-е-ени!», и Таня поймала себя на том, что услышала это ушами, как самый обыкновенный человек, и что именно это ей понравилось.

* * *

Дима стоял у окна будущей гостиной, пока состоявшей из голых стен и запаха краски, и смотрел на серый камень соседнего дома и на тот же мокрый куст шиповника, только с другой стороны. Он молчал, но это было рабочее молчание, то самое, которое дочери научились

узнавать раньше, чем научились читать: так он молчал, когда раскладывал обстоятельства по полочкам, взвешивал, отбрасывал лишнее и только потом произносил одну короткую фразу, в которой уже всё было решено. Катя знала это молчание наизусть и не мешала, лишь проходя мимо провела ладонью по его голове, слегка взъерошив волосы.

Дочери были в комнате, и он, не оборачиваясь, знал, кто где: Тая ближе к стеклу, Таня ближе к двери. Так они становились всегда, с самой первой их общей комнаты в первой квартире, и он давно перестал считать это случайностью. Одна первой входит в тёмную комнату, другая первой чувствует, где из неё выход, и вместе они как-то умудряются никогда не оказываться в темноте по-настоящему. Про дом знание сказало сразу и коротко: подойдёт. Дима привык доверять этой короткости и не выпрашивать подробностей. Про остальное его знание молчало, и это молчание он тоже разбирал на слух: оно означало не «ничего не будет», а «пока не твоё дело», и с таким ответом в его практике обычно приходили самые тяжёлые дела.

В Эдинбурге он был не отцом на затянувшихся каникулах. Международный юридический консалтинг не ждёт, пока человек обживётся, и практику предстояло выстраивать заново, с чужими законами, чужим языком контрактов и чужой манерой пожимать руку. Кабинет он отвёл себе сразу, маленькую комнату наверху с единственным окном в общий двор с чахлым парком, и мебель туда приехала в плоских коробках, картинкой вместо инструкции и пакетиком винтов. Стол он собрал первым, потом не разворачивая схему собрал шкафы.

– Человеку, который всё знает заранее, шведские шкафы должны быть особенно скучны, – сказала Катя из коридора, прислонившись плечом к косяку.

– Скучна инструкция, – сказал Дима.

– Ты в неё даже не заглянул.

– Поэтому и не скучал.

Катя усмехнулась, а он отложил шестигранный ключик так, чтобы она видела: не понадобился. Рядом лежали три винта, оставшиеся неизвестно от чего.

– А эти? – спросила Катя.

– Запасные, – сказал Дима тем голосом, каким в суде говорят «вопросов больше не имею», и Катя ушла, потому что её помощь здесь была лишней.

Возвращаясь позже по тёмному коридору с последней коробкой книг, Дима остановился. Комнаты дочерей были смежные, и между ними осталась дверь, которую по молчаливому уговору не закрывали до конца, щель на ширину шёпота, как это называлось у них с тех пор, как они себя помнили. Сейчас за этой дверью проверяли главное: ещё не застелив кроватей, дочери отворили её ровно настолько, насколько привыкли, и попробовали на слух.

– Нормально слышно? – спросила Таня из своей комнаты.

– Нормально, – ответила Тая из своей.

И всё, больше ничего сказано не было. Дима стоял в темноте с коробкой на плече, слушал эти слова и понимал, что дом уже почти стал родным, и что случилось это именно сейчас. И добавлять к этому своё одобрение было незачем. Он перехватил коробку поудобнее и унёс её в кабинет.

Стол в кабинете был первым собранным предметом мебели, и на нём, ровно посередине, в круге света от единственной лампы, лежала тетрадь в зелёной обложке. Пятая по счёту. Первые четыре, исписанные тем же ровным почерком, остались в Москве, и никто не знал в точности, что в них, хотя все знали, что они есть. Он сел, придвинул лампу, открыл тетрадь на первой странице и с минуту сидел, положив ручку рядом, глядя на чистый разлинованный лист, пахнувший типографской краской. За шестнадцать лет он открывал такую тетрадь только тогда, когда что-нибудь случалось, и рука сама уже знала, как ложится первая строчка. Сегодня не случилось ничего, кроме дождя, и это было настолько непривычно, что писать об этом казалось преждевременным, как выставлять оценку на середине дела.

Он посидел ещё немного, придерживая пальцами край чистой страницы, и знание, которое весь день стояло в стороне и ждало, когда его наконец спросят, подошло и село рядом: тетрадь заполнится. Не сегодня и не в этом месяце, но заполнится, как заполнились четыре предыдущие. Знание пришло ровно, без картинок и без имён, и, как всегда, не сказало ни слова о том, чем именно, оставив голую уверенность, которую не проверишь и не обжалуешь. Внизу засмеялись: мать что-то ответила девочкам, обе фыркнули разом, и кто-то уронил крышку от кастрюли. Дима слушал эти родные звуки, не отнимая пальцев от чистой страницы, и поймал себя на желании, в котором не признался бы даже Кате: чтобы в этот раз он ошибся, и дочери устроили обещанный праздник с шариками.

Дима закрыл тетрадь, не написав ни слова, и положил на обложку ладонь.

– Не сегодня, – сказал он вслух, обращаясь к тетради, и погасил лампу.

* * *

Первые дни сёстры выходили в город каждое утро, без цели и без зонта, потому что зонт вывернуло на первом же перекрёстке. Туман по утрам не думал рассеиваться – он менял плотность: то густел до того, что соседний дом растворялся в молоке, то редел до серой кисеи, сквозь которую проступали крыши, и Тая приноровилась угадывать по нему время точнее, чем по часам. Дождь мочил воротники и волосы, но, что было странно, не портил настроения, и к нему привыкали так же, как привыкают у моря к соли на губах.

– Это не погода, – объявила Тая на третий день, выкручивая рукав прямо в прихожей.
– Это подписка. Оформили без нашего согласия и списывают ежедневно.

– Отмени, – посоветовала Тая, стаскивая мокрые кроссовки.

– Только через суд. Только я его проиграю, потому что судить будет дождь.

Тая прыснула, вытряхивая из кроссовка небольшую лужу.

И камень, который был везде, старый и тёмный от воды. Тая один раз позволила себе проверить его, коротко, как пробуют языком незнакомую еду: провела двумя пальцами по мокрой стене какой-то ограды, задержала на секунду и убрала руку. Видения не было, только ощущение бездонной тысячилетней тишины, пальцы похолодели до костяшек и минуту не отходили в кармане, после чего Тая пообещала себе больше так не делать.

За несколько дней до начала учёбы они с Таней вышли пройтись, посмотреть, где будут учиться, чтобы утром в первый день не метаться по чужим перекрёсткам с картой в мокрых руках. Кампус лежал за оврагом: старые корпуса тёмного камня, высокие окна, чёрные от дождя тротуары, редкие студенты под зонтами, видимо многие ещё не вернулись к сентябрю. Они дошли до угла, откуда было видно крыло, где помещалась кафедра, и Тая, шедшая чуть впереди, вдруг остановилась на полушаге, будто наткнулась на невидимую верёвку, протянутую поперёк тротуара.

Секунду она стояла неподвижно, и в эту секунду с ней ничего не происходило: происходило с местом. Ощущение было странным, и это казалось хуже, потому что от того, что направлено на тебя, можно отвернуться. Чей-то взгляд откуда-то издалека был направлен на само здание, на кафедру, и смотрел так, как смотрят на дом, куда собираются войти без приглашения: спокойно, привычно, не в первый раз. Волоски на предплечьях у Таи встали, будто от сквозняка, во рту опять появился холодный железный вкус, и она поймала себя на том, что отвела глаза и смотрит на мокрый асфальт под ногами, потому что смотреть туда, куда смотрел этот странный потусторонний взгляд, было нельзя.

И тут же ушло, будто и не было, оставив только холодок под рёбрами и ощущение, что она подслушала чужой телефонный разговор.

– Ты чего встала? – Тая подтянула повыше воротник, за который затекал дождь, и морщилась, потирая переносицу.

Тая открыла рот, и в этот момент увидела всё сразу: как сестра сейчас переспросит, как придётся объяснять то, чему нет слов, как вечером это дойдёт до кухни, а с кухни до отца, и как отец промолчит и не станет спрашивать, но папку с делом откроет. Пять дней в новом доме и одна ночь, когда они обе спали.

– Ничего, – сказала Тая, и это была первая из многих таких «ничего». – Показалось. Пойдём, промокли уже.

– Мы промокли ещё в четверг, – сказала Таня, пряча ладони в рукава. – С тех пор мы просто разной степени сырости.

Она хмыкнула собственной шутке, коротко и без сил, и пошла вперёд, старательно обходя лужи, хотя обходить их было уже совершенно незачем.

Соврала Тая ровно, без запинки, и никто не поймал, потому что у Тани от здешней разреженной тишины третий день ныла переносица, а на близких она давно не направляла свой внутренний слух без нужды. Молчание – золото, только когда есть что сказать; правило было Таино собственное, давнее и до этого дня удобное. Сейчас сказать было что. Молчание стало золотом, и оказалось, что золото – тяжёлый металл. Впервые в жизни Тая обрадовалась тому, что у сестры болит голова, и радость эта была такая мутная, что она свернула её и убрала подальше, вместе со всем остальным. Она просто запомнила, как запоминают первый листок, слетевший раньше срока, первый признак того, что погода вот-вот переменится.

Правило, думала Тая, догоняя сестру, приехало с ними, как чайник и стикер: скрыть, присмотреться, не открываться. Здесь особенно. Здесь люди профессионально, за зарплату, искали именно то, что они всю жизнь прятали, – и с понедельника обеим предстояло ходить к ним на лекции.

* * *

В ту ночь вещи ещё стояли в коробках. Кровати застелили наспех, свежим, пахнущим магазином бельём, и в темноте комнаты казались больше и незнакомее, чем днём. За окном горел уличный фонарь, старый, с тёплым жёлтым светом, и ветка шиповника, качаясь под дождём, рисовала на стене над Таиной кроватью тени, которые ползли, вытягивались и снова сжимались, будто чья-то ладонь то раскрывалась, то собиралась в кулак. Тая лежала на спине и смотрела на эти тени, и они её не пугали, а, наоборот, успокаивали: обычные, объяснимые тени от обычной ветки.

Из-за двери донёсся протяжный скрип, потом ещё один, и по ним легко было восстановить, как человек за стеной переворачивается с боку на бок, отыскивая положение, в котором чужая страна наконец покажется удобной.

– Эта кровать шведская, – сообщила Таня в темноту. – Она скрипит на два голоса. Я думаю, второй лишний.

– Не вертись, и не будет скрипеть.

– Я не верчусь, я устанавливаю границы.

– Границы кровати?

– Устанавливаю границы дому, – уточнила Таня, и кровать тут же подтвердила её слова длинным низким стоном. – Пусть сразу знает, кто тут теперь скрипит.

Тая усмехнулась в темноту, глядя, как тень от ветки раскрывает над ней ладонь и снова медленно собирает её в кулак.

Дом дышал. Он потрескивал остывающими батареями, где-то капало, ветер трогал водосток, и во всём этом был ритм, медленный и ровный, как дыхание очень старого человека, будто дом и вправду прислушивался к новым жильцам, принаравливался к их дыханию, решал, впускать или нет. Тая слушала его и чувствовала, как из груди уходит то, что копилось весь

день, вся натянутость, как у струны, которую наконец отпустили. Плечи опустились в подушку, ступни согрелись, и стало слышно, что внизу мать всё ещё зачем-то ходит по кухне.

– Тань, – сказала она негромко, в щель между комнатами, зная, что сестра не спит.

– Слушаю, приём.

– Почему «приём»? Ты и без рации всё слышишь.

– Слышу, – фыркнула Таня. – А поговорить всё равно надо.

Тая помолчала. В горле уже стояли другие слова, про угол у кампуса, про чужой терпеливый взгляд, стоявший на здании, и она даже набрала для них воздуха. Потом посмотрела на тень от ветки, которая медленно проползла по стене и замерла, и подумала, что у сестры болит переносица, что мать среди ночи всё ходит по чужой кухне, что отец не написал в тетради ни строчки. В детстве они просовывали в эту щель мизинцы и держались так, пока не заснут, и Тая, лёжа в темноте, вдруг очень ясно вспомнила, какой тонкий и тёплый бывает мизинец родного человека. Она выдохнула набранный воздух и сказала другое, и другое тоже было правдой, только не всей.

– Я думаю, что мы дома.

Ответа не было дольше, чем нужно для «да». В этой паузе было слышно, как дышит старый каменный дом, негромко, ровно, будто он тоже прислушивался и решал что-то своё.

– Я тоже, – сказала Таня из темноты, и по голосу было слышно, что она улыбается в подушку.

На чужой кухне, под чужим бесконечным дождём, с отдельными кранами и незнакомой духовкой, с выцветшим стикером на подоконнике, с нетронутой зелёной тетрадью на столе наверху и с фонарём, рисующим тени веток на стене. Дома.

Глава 1. Первый день на кафедре

«Самые важные встречи уже назначены задолго до того, как мы выходим из дома» – Пауло Коэльо

Утро было сырым и холодным, из тех, когда воздух кажется разбавленным молоком, и сквозь него всё видно, но словно на один тон бледнее, чем есть на самом деле. Дождь то ли шёл, то ли просто висел над улицей, оседая на волосах мельчайшей влагой, и куст шиповника у забора стоял такой мокрый, что капли на нём держались, дрожа, и всё никак не падали. Пахло мокрым камнем, опавшей листвой и откуда-то издалека торфяным дымком, тонким и сладковатым, к которому они ещё не привыкли и который каждое утро напоминал, что это не Москва. Красная дверь дома за спиной блестела от влаги, как облизанный леденец, единственное яркое пятно на всей серой улице, и Тая, выходя, зачем-то запомнила именно её.

Она не спала с пяти. Лежала, слушая, как за приоткрытой дверью ворочается Таня, и знала, что сестра тоже не спит, и обе молчали, потому что произносить это вслух означало признать невысказанные сомнения. Сумку Тая собрала ещё вечером, потом переложила, потом переложила ещё раз, и к утру в ней лежало ровно то, что лежало с самого начала: две тетради, ручки, кошелек, зонт. В животе у неё сидело что-то тугое и холодное, свёрнутое с ночи, похожее на то нехорошее ожидание, когда не знаешь, чего именно ждать, и оттого готовишься сразу ко всему. Она проверила это чувство осторожно, как проверяют языком больной зуб, и решила пока не трогать.

Таня вышла следом, дожёвывая тост на ходу, оглядела мокрую улицу, серое небо и дымящие трубы и сообщила:

– Если я усну на первой лекции, разбуди меня как-нибудь дистанционно. Чтобы никто не заметил.

– Разбужу ногой, – сказала Тая. – Тоже дистанционно.

До ворот кампуса Катя с Димой довезли их и дальше не пошли, потому что об этом договорились заранее, ещё вчера, за ужином, коротко и без обсуждений, как договариваются люди, понимающие друг друга без слов. Дорога была короткой и молчаливой, дворники размазывали по стеклу серую морось, за окном тянулись мокрые изгороди и низкие каменные дома, и Дима вёл, держа руль обеими руками ровнее обычного, как везут хрупкое, а Катя чуть повернула зеркало заднего вида, и дорога в нём уступила место двум дочерям. Катя один раз обернулась с переднего сиденья, оглядела дочерей, открыла рот и закрыла, так и не спросив, тепло ли они оделись, хотя Тая видела по её лицу, что вопрос уже был готов и его пришлось проглотить.

Машина остановилась у обочины, дочери выбрались на мокрый тротуар, и у чёрной чугунной ограды, за которой начиналась чужая взрослая жизнь, наступила та неловкая пауза, когда всем всё ясно, а расходиться почему-то не хочется. За оградой в туманной глубине угадывались корпуса из тёмного камня, спешили под зонтами студенты, кто-то смеялся, звонко и чужеродно, и всё это было близко, в двух шагах, но пока ещё не их. Тая обернулась, поймала мамин взгляд, слишком внимательный для простого «пока», и сказала первое, что защищало их обоих:

– Мам, мы не в первый класс идём.

– А если мы к шести не вернёмся, – добавила Тая, поправляя лямку, – ищи нас в разделе «непознанное».

– Не смешно, – сказала Катя, и уголок её рта дрогнул, выдав, что это и смешно и не смешно одновременно.

Она махнула рукой, коротко, будто отгоняя что-то от лица, и улыбнулась больше для себя, чем для них. На секунду подалась вперёд, словно хотела поправить Тане воротник, как поправляла в первый школьный день много лет назад, но руку остановила на полпути, опустила

и сунула в карман плаща. Обе дочери этот оборванный жест заметили, и обе сделали вид, что не заметили, потому что заметить означало бы раскрыть мамино волнение, которое она так старалась спрятать.

Дима стоял чуть в стороне, у открытой дверцы, слегка прищурившись, и смотрел на дочерей так, как смотрят на то, что нужно запомнить целиком: две фигуры в тёмных куртках на фоне мокрого камня, серого неба и чёрной ограды. Такое бывает только один раз, второго дня не будет. Он смотрел жадно, как смотрят на то, что уходит, и укладывал в память, чтобы потом достать, и знал, что достанет, и не один раз. Катя проследила за его взглядом, всё поняла и толкнула его локтем в бок.

– Ну что ты стоишь, как адвокат на опознании.

– Привычка, – сказал Дима, не отрывая глаз от уходящих фигур, и в этом одном слове было ровно столько, сколько он позволял себе говорить о таких вещах.

Сёстры пошли к воротам, не оглядываясь больше, но чувствуя спинами, что машина не трогается с места.

– Они ещё стоят, – сказала Тая негромко, глядя строго вперёд.

– Знаю.

За поворотом дорожки мокрая изгородь закрыла улицу, и только тогда сзади, далеко, зашуршали по асфальту шины – медленно, как поезд отъезжает с перрона.

* * *

Кафедра Кёстлера находилась в старом крыле университета, куда вёл коридор с истёртыми каменными плитами и портретами людей в тёмных костюмах, глядевших со стен с одинаковым выражением сдержанного неодобрения. Плиты под ногами были вытоптаны так, что посередине шла ложбинка, отполированная подошвами до маслянистого блеска, и шаги отдавались в коридоре гулко и одиноко, будто дом считал вошедших. Воздух в этом крыле был на ощупь другим – плотным, выстоявшимся, и в нём слоями держались холодный камень, старая бумага, восковая мастика для пола и что-то сухое, чуть горьковатое, – так пахнет время, когда его накапливается достаточно много в одном месте. Потолки были непозволительно высокие, лепнина под ними потемнела, паутина в углах карнизов висела с достоинством, будто и её внесли в реестр памятников, а батареи оказались до смешного маленькими: узкие чугунные рёбра под каждым окном, гревшие, судя по всему, исключительно сами себя и ближайшие десять сантиметров воздуха. Тая мимоходом отметила, что тепло в этом здании давно перестало быть задачей и стало воспоминанием о задаче, и что все, кто здесь работал, с этим смирились и просто не снимали пальто.

Аудитория оказалась небольшой, амфитеатром с деревянными пюпитрами, потемневшими от тысяч ладоней, и Тая, поднимаясь по ступенькам к среднему ряду, поймала себя на том, что выбирает место у стены, не думая, по привычке, как выбирают спину, за которой безопаснее. Народу набралось человек двадцать: пёстрые, невыспавшиеся, с картонными стаканчиками кофе, переговаривающиеся вполголоса на разных языках, из которых Тая узнавала английский и ещё какой-то северный, мягкий, с проглоченными окончаниями.

Первая лекция называлась вводной и была именно такой, какой должна быть вводная лекция на серьёзной кафедре, боящейся за свою репутацию. Немолодой преподаватель в сером джемпере с протёртыми локтями рассказывал историю парапсихологии, методологию, критерии достоверности, и говорил ровным, чуть усталым голосом, будто читал этот текст не в первый и даже не в сотый раз. До Тани через два ряда доносилось чьё-то тягучее «когда же перерыв» – не словами, голым смыслом, – и она с мрачным удовлетворением отметила, что скука на всех языках звучит одинаково. Преподаватель чертил на доске таблицы, приводил проценты, рассказывал про двойной слепой метод и контрольные группы, показывал слайды с графиками,

и каждый график был обведён такой частой сеткой оговорок, что сквозь неё едва проступало то, что он, собственно, значил. Через каждые три фразы преподаватель вставлял оговорку, произнося её с той профессиональной осторожностью, с какой ходят по тонкому льду люди, которых уже не раз обвиняли в шарлатанстве. Ни разу он не сказал «это правда». Он говорил «есть данные, которые принято интерпретировать», «в рамках гипотезы», «при всей спорности метода», «результат, не достигающий статистической значимости, но интересный», и от этих формулировок веяло даже не наукой, а её пуганым, вечно оправдывающимся младшим братом, который заранее извиняется за то, что вообще открыл рот.

– Он извинился перед собственным графиком за то, что тот существует, – шепнула Тая, не поворачивая головы. – Ещё раз извинится, и мне его станет жалко. – И совсем тихо, третьим тактом, уже почти себе: – Интеллигентный человек извиняется, прежде чем нахамить. Этот извиняется просто так.

Тая ответила ей только взглядом, но угол губ у неё дёрнулся, и в тесном пространстве между их плечами стало на градус теплее.

Однокурсники слушали по-разному: кто-то прилежно записывал, кто-то откровенно скучал, разглядывая потолок, а парень в первом ряду вертел в пальцах ручку, ни разу не притрунувшись ею к бумаге, и по едва заметной кривой усмешке было видно, что он пришёл сюда не соглашаться, а ловить на слове. Тая скользнула по нему взглядом и отвела глаза: рядом с этим человеком в общем гуле аудитории было странно легко, будто кто-то приоткрыл в душевной комнате окно, но думать об этом она пока не стала.

Тая слушала, и внутри у неё разжималось то, что было сжато с ночи. Она взглянула на сестру, и та ответила быстрым взглядом, в котором всё уже было сказано: «Это и есть кафедра?» В этом немом вопросе смешалось разочарование, глупое, детское, будто им обещали дракона, а вынесли на середину зала музейный скелет с инвентарным номером на бедре, и одновременно облегчение, огромное, тёплое, разлившееся до самых пяток. Здесь было безопасно. Здесь всё было настолько обложено оговорками и сносками, что никакая случайность не могла бы прорваться наружу и выдать их.

И вместе с облегчением пришла обида, такая мелкая и такая настоящая, что Тая сама себе удивилась. Двадцать лет ей говорили: молчи, не показывай, не выделяйся. Двадцать лет она молчала так хорошо, что научилась не вздрагивать, даже когда чужая вещь обжигала её ладонь чужой смертью. Они переехали на другой конец Европы, в единственное на земле место, где ищут именно то, что она прятала всю жизнь, и это место оказалось тише читального зала и ни о чём не собиралось её спрашивать. Тая опустила плечи на пару сантиметров и впервые за утро подумала, что, может быть, всё будет проще, чем она предполагала.

Мысль продержалась недолго. Потому что если здесь однажды спросят прямо, отвечать придётся ей, и многолетняя привычка молчать не подскажет ни единого слова, потому что она всю жизнь училась ровно обратному. Тая поймала себя на том, что заранее подбирает формулировки к вопросу, которого никто ещё не задал, и что формулировок этих у неё нет ни на одном из двух языков. Приятная мысль осталась лежать сверху, а глубоко под ней лежало разочарование, которое она предпочла не поднимать, и ещё глубже, на самом дне, то тугое и холодное, что она ещё утром решила не трогать.

* * *

А потом дверь в нижней части амфитеатра открылась, преподаватель в сером джемпере как-то сразу подобрался, и в аудиторию вошёл человек, при появлении которого в комнате что-то неумовимо сдвинулось: так меняется воздух, когда открывают окно в непроветренном помещении, и ты не сразу понимаешь, что именно изменилось, но дышать становится иначе. Он был немолод, сухощав, в потёртом твидовом пиджаке, с седыми, коротко стриженными волосами

и лицом, которое трудно было запомнить и невозможно забыть. Преподаватель представил его коротко, с почтением: декан кафедры, профессор Искал.

Он не встал за кафедру. Он остановился у первого ряда, опёрся ладонью о край стола, обвёл аудиторию взглядом, и Тая почувствовала, как весь зал невольно подался чуть вперёд. Искал заговорил, и через минуту стало ясно, что лекции не будет: он разговаривает с каждым в отдельности, будто все двадцать человек по одному пришли к нему на приём и он теперь отвечает сразу всем, не теряя ни одного из вида. Голос у него был негромкий, чуть сипловатый, и от этого в зале сделалось тише: люди сами тянулись расслышать, вместо того чтобы он повышал тон.

Он не спорил с оговорками, которыми только что был обложен весь предмет.

– Наука провела черту, – сказал он, глядя куда-то в окно, где стекал по стеклу дождь, – и одну сторону назвала знанием, а другую суеверием. Черта эта проведена не там, где проходит настоящая граница, а там, где кончается смелость проводящего.

Он произнёс это спокойно, без вызова, как говорят очевидное, и добавил, что на этой кафедре интереснее всего как раз полоса вдоль черты: то, что ещё не признали знанием, но уже не считают выдумкой.

– Для этого нужно немного, – сказал он в окно, буднично, как называют условие приёма на работу. – Научиться видеть там, где темно, и слышать там, где тихо.

Тая молча забрала себе «видеть»; по тому, как рядом на долю секунды перестала дышать Таня, было понятно, кому досталось «слышать». Ни одна не проронила ни слова.

Он улыбался понимающе, задавал вопросы не по программе и оставлял их без ответа, будто раздавал слушателям с собой, глядел то в окно, то снова в зал, и речь его текла легко, с отступлениями, за которыми хотелось идти. Каждая его фраза была ровно на одно предложение длиннее, чем можно было спокойно переварить, и это лишнее предложение оставалось потом в голове и не давало покоя. Тая заметила, что по всей аудитории замерли ручки: конспект сдался первым.

И тут его взгляд дошёл до среднего ряда, до стены, и задержался на сёстрах.

Тая ощутила это раньше, чем встретила с ним глазами: тёплое, почти физическое касание внимания, которое остановилось на них и не спешило уходить, – так чувствуешь спиной солнечное тепло, ещё не обернувшись к окну. В этом взгляде не было ни любопытства, ни оценки, какими смотрят на новичков, прикидывая, кто из них чего стоит. В нём было узнавание, слишком точное, чтобы списать его на вежливость: так смотрят на человека, которого давно ждали и наконец увидели входящим в дверь.

И вот здесь у Таи оборвалось дыхание. Всю жизнь она умела становиться незаметной, умела так ровно держаться, что учителя забывали её фамилию, и умение это было её защитой, её единственной стеной. За полторы секунды кто-то посторонний прошёл сквозь эту стену, не толкнув её и не сломав, будто её и не было, и Тая с ужасом поняла, что ей от этого хорошо. Жар поднялся по спине к щекам, ладони стали влажными, а внизу, под рёбрами, шевельнулось нелепое желание кивнуть ему, как кивают знакомому через комнату, – просто чтобы подтвердить: да, это мы, вы не ошиблись. Она удержалась. Опустила глаза к пюпитру, к своим рукам, которые лежали на нём слишком спокойно, и стала считать про себя вдохи, и на четвёртом ей стало стыдно за то, что первое её движение было не защититься, а откликнуться.

Когда она снова подняла голову, Искал уже говорил о другом, глядя в другую сторону, и всё случившееся можно было списать на британскую эксцентричность, на манеру, на что угодно. Рядом Таня сидела очень прямо и очень тихо, сцепив пальцы, и по этой её неподвижности Тая поняла, что сестра почувствовала то же самое, и тоже сделала вид, что ничего не произошло.

Списать не получилось. Позже, когда день кончился и они вдвоём выбрались наконец из старого крыла под открытое небо и дождь, Тая наклонилась к сестре и сказала тихо, только для неё:

– Он смотрел на нас так, как будто мы знакомы.

Тая не переспросила, что она имеет в виду. У неё была наготове шутка, обычная, спасительная, про то, что старики вообще любят смотреть на девушек, но она промолчала, потому что шутка тут ничего не прикрыла бы. Она только кивнула, медленно, и в этом кивке было согласие человека, который слышал то же самое.

* * *

Всю лекцию Тая держала руки на коленях, сложенными одна на другой, потому что не могла заставить себя лишний раз коснуться пюпитра. Дерево под её локтем было тёплым от чужих ладоней, отполированным до блеска десятилетиями касаний, и в нём что-то ждало, тихо, терпеливо, стоило только положить пальцы плашмя. Она этого не делала. Она сидела, чувствуя, как немеют сжатые кисти, и слушала не столько слова Искала, сколько само здание вокруг.

Камень стен разговаривал с ней всё утро ровным глубоким гулом, который она ощущала не ушами, а костями. Он был старый, ноздреватый, впитавший в себя сотни лекций, тысячи рук, скользивших по перилам и подоконникам, десятилетия чужих голосов, оседавших в порах, как оседает копоть. Дома, в Карри, камень был моложе и молчаливее, он помнил пока только своих хозяев и говорил вполголоса; этот же дом был стар настолько, что память в нём слежалась пластами, и каждый шаг по коридору был шагом по многим пластам времени. Тая ничего не показывала, дышала ровно, считала про себя, как считают, переживая боль, но костяшки на сжатых руках побелели, и она сама этого не замечала, пока не заметила Тая и не накрыла её кулак своей ладонью – коротко, без слов, тёплой сухой ладонью, от которой гул на секунду отступил, будто кто-то убавил звук.

Когда прозвенел звонок и аудитория с шумом поднялась, Тая вышла в коридор последней и на секунду отстала от общего потока. Здесь, у высокого окна, где никого не было, она сделала то, чего избегала всё утро: медленно, будто пробуя воду, положила ладонь на голый камень стены между двумя портретами.

Камень был холодный и живой одновременно, и её повело сразу, мягко, без рывка.

Стена помнила всё. Она помнила руки: тысячи рук, скользивших по ней в темноте и на свету, ладони, опиравшиеся здесь на минуту передышки, пальцы, машинально трогавшие выступ на ходу. Помнила голоса, которые давно смолкли, шаги, которые давно стихли, помнила себя ещё тёплой, только что вырубленной, помнила руки каменотёсов, живших так давно, что от них не осталось ни имён, ни могил, – только это касание, ушедшее в камень и оставшееся в нём навсегда. Всё накатило разом, огромное и спокойное, как море, которому нет до тебя никакого дела, и в этой огромности Тая на секунду перестала быть двадцатилетней девушкой в мокрой куртке, а стала маленькой тёплой точкой, приложившейся к чему-то, что было до неё и будет после. Границ у этого нет, подумала она откуда-то с самого дна покоя. По какому пути ни пойдёшь – и мысль не кончилась, просто уходила дальше, чем Тая могла за ней пройти. Это не пугало, скорее было почти невыносимо от нежности: столько людей приходило сюда и уходило, и никто не знал, что стена всё сохранит, только рассказать об этом было некому, и вот наконец пришла она, и стена рассказывала ей, торопливо и щедро, как рассказывают тому, кого долго ждали.

Она отняла руку. Отняла резко, испугавшись собственного восторга больше, чем самого видения. Гул отступил, но не ушёл до конца, остался под кожей ладони, как остаётся звон в стакане, по которому щёлкнули ногтем; во рту держался вкус холодного железа, а левое плечо ломило, будто она полчаса простояла на сквозняке. За окном по-прежнему шёл дождь, в кори-

доре по-прежнему было пусто, и часы над лестницей показывали, что прошло меньше минуты, хотя внутри у неё прошло несоизмеримо больше.

Тая посмотрела на свою ладонь, обычную, розовеющую, живую, и подумала спокойно и ясно, без страха, но и без радости: здесь ей нельзя ничего трогать просто так. Каждая поверхность в этом доме – чужая память, и если распахнуться навстречу сразу, эта память тебя смоем и не заметит. Она наклонилась застегнуть сумку, но молния не поддавалась с первого раза, потому что пальцы плохо слушались, и вот от этой мелочи её наконец пробрало, коротко и по-настоящему: пока никто не видел, она села на подоконник и отдышалась. «Прекрасно, – сказала она себе, застёгивая молнию со второй попытки. – Первый день, а я уже боюсь». Потом сунула обе руки в карманы куртки и пошла искать сестру, которой, судя по тому, как оборвался в конце коридора её собственный след, было сейчас не легче.

* * *



Тая продержалась минут двадцать, и это был её личный рекорд стойкости, о котором никто, кроме неё, никогда не узнает.

Началось всё почти терпимо. Двадцать голов в аудитории – немного после московского метро, после школьных линеек, после рынков, где она в детстве цеплялась за мамину руку и считала до ста, чтобы не заплакать. Но эти двадцать голов думали на незнакомых языках, и в этом было всё дело. В Москве чужие мысли катились фоном, привычной волной родной речи, которую можно было пропускать мимо, как пропускают шум за окном. Здесь же языки навалились разом и вразнобой: английский, острый и быстрый, мягкий северный говор соседки спереди, отрывистое немецкое бормотание сзади, чья-то итальянская скороговорка. Мозг, привыкший понимать, отчаянно хватался за каждый поток, пытался перевести, не успевал, хватался за следующий, и это было похоже на то, как если бы кто-то включил радио на полную громкость и крутил ручку настройки быстрее, чем ухо могло зацепиться за звучащие слова. Таня вдохнула и скомандовала себе: главное – не падать духом. Мимо тела – тем более. Каламбур не помогал, потому что переставал быть каламбуром: она уже не очень понимала, где начало и где конец этого диссонанса.

«...почему она просто сидит...» – резануло откуда-то справа, ясно, по-русски даже не будучи русским, потому что мысль доходила до неё голым смыслом, минуя слова, и от этого было только хуже. «...ничего не понятно, зачем я вообще...», чьё-то раздражённое «...полная чепуха, деньги на ветер...», обрывок тоски, острый укол чужой головной боли, чужое смущение, чужой голод – всё разом, всё на полную, и ни одну мысль нельзя было дослушать до конца, потому что на неё тут же накатывала следующая.

И хуже всего было то, что все они этого хотели. Никого сюда не гнали: каждый пришёл сам, выбрал эту аудиторию из тысяч других и сел сюда ради того, чтобы однажды кого-нибудь услышать или чтобы наконец услышали его, и мечтали они о даре так же честно и наивно, как мечтают о поездке к морю. Они тянулись быть прочитанными, раскрывались навстречу, подставляли себя, и от этой готовности их мысли лезли к ней сами, без спроса, как лезет в лицо мокрая ветка в темноте. Таня сидела посреди людей, которые всю жизнь хотели быть услышанными, и была единственной, кто отдал бы что угодно за возможность на два часа оглохнуть.

А потом сквозь этот грохот пришло тихое, и тихое оказалось хуже грохота: кто-то в третьем ряду думал о матери, которую не увидит до Рождества, и думал спокойно, без слёз, просто как думают о погоде. Таня почувствовала, что у неё щиплет глаза, и целую секунду не могла понять, почему она плачет посреди вводной лекции, а когда поняла, стало совсем нечем дышать. Даже слёзы у неё сейчас были не свои. Звон в ушах поднялся высокий и тонкий, как перед обмороком, к горлу подкатила тошнота, ладони стали мокрыми, буквы в тетради поплыли и потеряли смысл. Она встала, пробормотала что-то, сама не слыша что, протиснулась к проходу и вышла, чувствуя спиной, как двадцать голов разом подумали о ней, и это было последнее, что она разобрала.

В коридоре она сделала три шага и прижалась лбом к холодному камню стены, закрыв глаза.

Камень был влажный и шершавый, и его прохлада вошла в неё так, как входит глоток воды в пересохшее горло. Гул начал спадать, медленно, слоями. Здесь, в пустом коридоре, было тихо – по-настоящему тихо, впервые за всё утро: ни голосов, ни давления, ни чужого раздражения, тычущегося в виски. Таня стояла, вжимаясь лбом в шершавую прохладу, дышала, и вместе с дыханием к ней возвращалась способность различать, где кончается она и начинается всё остальное. Ей через неделю исполнялось девятнадцать, и она впервые в жизни отчётливо поняла, что тишина ей не нравится. Тишина ей нужна. Нужна физически, как воздух и вода, и, если однажды её не окажется рядом, Таня сделает что угодно, чтобы её достать. Всю жизнь она мечтала о тишине как о роскоши. Теперь стояла упершись лбом в мокрый камень и понимала, что это лекарство, а всякое лекарство однажды заканчивается, и вот от этой мысли ей стало холодно совсем не от стены.

Тая нашла её через минуту. Не спросила ничего, не тронула, только встала рядом, плечом к плечу, привалившись к той же стене. Так они стояли вдвоём, две спины у холодного камня, пока звон в ушах не опустился до сносного гула.

– Здесь громче, чем в московском метро в час пик, – сказала Таня, не открывая глаз. – На кафедре парапсихологии, между нами, могли бы предупреждать. Отдельным пунктом. «Телепатам рекомендуется шлем из фольги».

Тая не ответила. Она только чуть сильнее прижалась плечом к плечу сестры, и Таня почувствовала это тепло сквозь две куртки – единственное тепло во всём холодном каменном доме, которое было безопасным, потому что за ним не стояло ни одной чужой мысли.

* * *

На следующую пару Таня шла как в разведку: заранее высмотрела место в углу, у стены, и села так, чтобы справа была не голова, а холодная штукатурка. Помогало мало, но помогало. Она разложила тетради, приготовилась терпеть ещё полтора часа чужого шума и краем глаза следила за дверью, прикидывая, кто ещё придёт и куда сядет, потому что от этого зависело, с какой стороны на неё навалится. Считать входящих было привычным делом, вроде счёта до ста на рынке, и от этого счёта у неё уже начинала болеть переносица. Не вылезай из бутылки, ворчливо велела она себе, ты не джинн, обратно не запихнут.

Девушка вошла тихо, без картонного стаканчика и без той суетливой общительности, от которой Таня уставала больше, чем от самого шума. Оглядела зал спокойно, коротко и, не колеблясь, поднялась к среднему ряду и села рядом. Не спросила, свободно ли, не улыбнулась в никуда – просто села, достала блокнот в мягкой обложке, положила рядом ручку и приготовилась слушать.

Таня по многолетней привычке потянулась к ней восприятием, готовясь к очередному потоку, и осеклась.

Тихо. Не глухо и не безразлично, как бывает у людей, спрятавшихся за стену, – именно тихо: ровная, чистая, внимательная тишина, как в комнате, где кто-то читает у окна и слышно только, как переворачиваются страницы. Мысли у соседки были, они текли медленно и прозрачно, не толкались, не кричали, и в них не оказалось ни колючек, ни фальши. Таня даже не сразу поверила. Она осторожно прислушалась ещё раз, как прислушиваются к тишине после долгого грохота, боясь, что вот-вот снова начнётся, и у неё в горле некрасиво дрогнуло, потому что за это утро было уже слишком много всего.

– Лена, – сказала девушка вполголоса, поймав её взгляд, и назвала фамилию, в которой Таня расслышала тот самый мягкий северный говор. – Сёренсен.

– Таня, – ответила она и вдруг поняла, что улыбнулась по-настоящему, а не той дежурной улыбкой, которую держала наготове для всех.

Лена кивнула, будто это всё, что нужно было выяснить, и повернулась к доске. И Таня, сидя рядом с ней, впервые за оглушительное утро почувствовала, что можно не держать оборону хотя бы с одной стороны. Роскошь такой соседки была настолько невероятной, что Таня, привыкшая не доверять хорошему, до конца пары нет-нет да прислушивалась снова: не начнётся ли. Не началось. К звонку она уже поймала себя на том, что мысленно прикидывает, ходит ли Лена на этот же семинар в среду, и устыдилась собственной мысли, как устыдился бы человек, который в гостях считает, сколько конфет ещё можно съесть.

* * *

Дома пахло жареным луком и чем-то знакомым до слёз, и в прихожей на них разом навалилось то, что копилось весь день, но не имело права проявиться на людях. Таня скинула

ботинки, не развязывая, поднялась к себе и рухнула на кровать лицом в подушку, слушая, как в голове ещё оседает дневной гул, – так оседает муть в воде, если долго её не трогать. Тая ушла в свою комнату, легла на спину и просто смотрела в потолок, дожидаясь, пока камень стен перестанет звучать под кожей ладоней.

Через полчаса, немного отойдя, Тая притащила ноутбук к себе на кровать, толстый, гудящий вентилятором, и открыла крышку, впустив в полутёмную комнату большой прямоугольник холодного синего света.

– Раз уж учимся официально, – сказала она в приоткрытую дверь, – посмотрим, что пишут неофициально.

Ей вдруг захотелось родной речи, живой, не переведённой и не процеженной сквозь оговорки, – простых русских букв на экране. Она зашла в «Живой Журнал», в тёплый болтливый русскоязычный угол сети, и стала листать по ссылкам без всякой цели: котики, диета, котики, чей-то отпуск, гороскоп на неделю, снова котики. И почти сразу наткнулась на блог, автора которого звали Маржена Горбова.

Тая пробежала глазами первый абзац и остановилась. Перечитала. «У других понимаешь лишь то, что преодолел в самом себе», – стояло там посреди строки, безо всякого нажима, между двумя бытовыми фразами. Что-то знакомое качнулось в груди, будто в комнате, полной иностранцев, кто-то вдруг заговорил на твоём языке. Голос был спокойный, точный, без надрыва, без обещаний и без страшилок, каких полно в таких местах. Обычно тексты про «тонкое» Тая закрывала на третьей строке, потому что от них тянуло то приторным, то нездоровым, то торгашеским, будто человек продаёт с лотка чудо и ждёт, купишь или нет. Здесь не было ни лотка, ни косого взгляда. Человек писал о вещах, которые Тая знала не из книг, а из собственного опыта, и писал так, будто это самое обычное дело, вроде объяснения, почему подгорают лук, если отвлечься от сковороды.

– Тай, – позвала она, и голос сорвался на середине имени. – Тая, иди сюда. Это как будто про нас.

Тая пришла практически сразу, села рядом на кровать, поджав ноги, и они склонились над экраном вдвоём, плечом к плечу, как склонялись в детстве над одной книжкой под одеялом с фонариком, когда весь мир сжимался до жёлтого пятна и двух сопящих носиков. Синий свет лёг на лица, стёр с них дневную усталость и сделал их снова похожими на девчонок. Они дочитали запись до конца молча, не мешая друг другу, останавливаясь глазами на одних и тех же строчках, и Тая читала чуть медленнее, поэтому Тая, добравшись до конца страницы, ждала её, не листая. На последней строке Тая почувствовала, как сестра рядом медленно выдохнула, – так выдыхают, когда наконец находят слово, которое давно вертелось на языке и не давалось.

Рука сама потянулась открыть следующую запись, но Тая накрыла её своей ладонью, и Тая вздрогнула: ладонь была холодная, как подоконник.

– Не сегодня, – сказала Тая тихо. – Слишком много всего за один день. Не влезет.

– Ты вся холодная.

– Это здание, – сказала Тая, и убрала руку в рукав, и на этом разговор был закончен, потому что обе понимали, о чём он был.

Тая и сама чувствовала, что голова полна до краёв и туда больше ничего не помещается, даже хорошее. Она закрыла ноутбук, синий свет погас, и комната осталась в тёплом жёлтом свете настольной лампы, вдруг сделавшемся очень уютным. Но имя она запомнила, и обе понимали, что обязательно вернутся и продолжат.

* * *

Ужинали поздно, всей семьёй, за круглым столом на кухне, где окно уже налилось густой шотландской темнотой и по стеклу опять принялся сеять дождь. На плите доходило что-то в кастрюле, пахло жареным луком и укропом, привезённым из Москвы сушёным и хранимым как драгоценность, и от этого запаха кухня становилась своей, отгороженной от всего чужого камня за стенами. На подоконнике держался приклеенный ещё в первый вечер стикер «Мы обычная семья», уже слегка загнувшийся.

Катя, разложив еду по тарелкам, села, подперла щеку рукой и оглядела дочерей тем взглядом, которым проверяют, целы ли они после первого самостоятельного плавания: быстро, по лицам, по плечам, по тому, как держат вилки. Дочери были целы, только притихшие, с той особой тихостью, которая бывает у человека, весь день продержавшего оборону и наконец опустившего руки. Катя безошибочно почувствовала, что расспрашивать про важное прямо сейчас не сто́ит, если потянуть за ниточку – посыплется всё разом, а им это сегодня не по силам. И спросила про важное иначе.

– Ну, рассказывайте. Хотя нет. – Она подняла ладонь, останавливая. – Лучше скажите сразу главное: чай там хороший? Вкуснее моего?

– Мам, там чай из пакетика в стаканчике из автомата, – фыркнула Таня, и что-то в ней от этого фыркания отпустило. – С молоком. Они молоко добавляют во всё. Кажется, скоро в суп начнут молоко добавлять.

– Значит, невкуснее, – удовлетворённо заключила Катя и щёлкнула чайником, будто ставя точку в важном вопросе. – Ну хорошо. Значит, дома лучше.

– Чай как чай, – сказала Тая, пожав плечом. – Просто его наливают в картон.

– Вот, – сказала Катя таким тоном, будто дочь только что подтвердила её главную догадку об этой стране. – В картон. И после этого они там изучают тонкие материи.

– А ещё они добровольно едят на завтрак овсянку, – сообщила Таня. – Не потому что болеют, просто едят.

– Разумный народ, – сказал Дима, не поднимая глаз от тарелки, и Таня фыркнула уже в голос.

– А топят там как? – Катя спросила это тоном, каким спрашивают о самом главном, и по её меркам это и было самое главное.

– Батарей есть, – сказала Тая. – Размером с учебник. Больше про них сказать нечего.

– Значит, никак, – перевела Катя. – Куртки не снимайте и у окна не садитесь.

– Мы у стены сидели.

– Правильно, – одобрила Катя и тут же поймала себя на том, что одобрять тут, в общем, нечего, и что дочь выбрала стену вовсе не из-за сквозняка.

Она помолчала, выравнивая вилкой на краю тарелки то, что в выравнивании не нуждалось. Вопрос, который стоял у неё в горле с утра, был совсем другой, скорее неудобный, и звучал он примерно так: не заметил ли кто, не спросил ли кто, не пришлось ли им сегодня объясняться. Но такой вопрос нельзя положить на стол между хлебницей и солонкой, потому что, произнесённый вслух, он превратил бы обыкновенный ужин в разговор, который потом надо будет чем-то заканчивать, а заканчивать его сегодня было нечем. И Катя спросила про буфет.

– Кормят-то там чем?

– Сэндвичи, – сказала Тая. – Треугольные, в коробочках.

– Холодные, – уточнила Таня. – И все ходят и шуршат этими коробочками, весь коридор шуршит, будто в здании завелись очень воспитанные мыши.

Дима хмыкнул в чашку, коротко, одним звуком, и вернулся к еде. Катя посмотрела на младшую внимательнее, чем требовал разговор про сэндвичи, и отметила про себя то, что

знала давно и всякий раз проверяла заново: если Таня начинает описывать мир на слух, значит, день был громкий.

– С понедельника кладу вам еду с собой, – постановила она.

– Мам, нам не по десять лет.

– Значит, буду класть по-взрослому. Побольше.

Тая усмехнулась и молча отобрала у сестры последний кусок хлеба, пока та возражала.

Дальше говорили про день, и говорили в основном сёстры, перебивая и дополняя друг друга, как всегда, когда одна начинала фразу, а другая её заканчивала. Рассказали про высоченные потолки, про портреты в коридоре, глядящие со стен с одинаковым сдержанным неодобрением, про немолодого преподавателя, боящегося собственного предмета, про Лену, тихую соседку, – про неё Таня рассказывала дольше и теплее, чем сама от себя ожидала, и на середине рассказа почему-то смутилась и стала гонять по тарелке горошину. О другом, о камне и головах, о том, как обоим пришлось выходить в коридор, не сказали ни слова, и это несказанное висело над столом ровно и незаметно, как висит запотевание на холодном стекле.

Дима внимательно слушал. Он ел неторопливо и слушал так, как умел только он: не перебивая и не кивая для приличия, только чуть наклонив голову к плечу и не сводя глаз с говорящей. Так он слушал в своём кабинете, в другой жизни, показания ключевого свидетеля, из которых важно не пропустить ни слова и ни интонации, потому что за интонацией часто прячется больше, чем за словом, а самое важное прячется как раз в том, о чём умолчали. Когда речь дошла до декана, до того, как он вошёл и всё будто сдвинулось, до его взгляда, Дима перестал есть совсем и положил вилку.

– Он посмотрел на нас, – сказала Тая, подбирая слова осторожно, – так, как будто мы знакомы. Как будто знал про нас что-то, чего мы сами ещё не сказали.

– Как его зовут, – спросил Дима. Не «как звали», не «а кто он», только имя, как заносят в протокол первым делом.

– Искал. Профессор Искал, декан.

Дима помолчал, глядя куда-то в середину стола, в точку между солонкой и хлебницей, и в этом молчании дочери узнавали то самое, рабочее: он раскладывал услышанное по полкам, взвешивал, отбрасывал лишнее. Катя не мешала, только подвинула ему остывший чай. Наконец Дима поднял глаза, посмотрел на обеих дочерей по очереди и сказал коротко:

– Присматривайтесь.

Он не объяснил, к чему присматриваться и зачем, и никто не спросил, потому что в семье давно знали: если Дима сказал одно слово вместо десяти, значит, остальные девять он пока не может произнести вслух, и торопить его бесполезно. У Тани на языке уже была шутка про то, что папа за сегодня израсходовал недельный запас слов, но она посмотрела на его лицо и промолчала.

Дочери ушли наверх, и на лестнице было слышно, как одна из них зевает, а другая шёпотом требует не зевать так громко. Катя собрала тарелки, протёрла стол, потом протёрла его второй раз, чего он совершенно не требовал, и остановилась с тряпкой в руке.

– Половину они проглотили вместе с картошкой, – сказала она, не оборачиваясь.

– Я слышал.

– И что думаешь?

Дима встал, отнёс свою чашку к мойке и на секунду задержал ладонь на спинке стула, на котором сидела Тая.

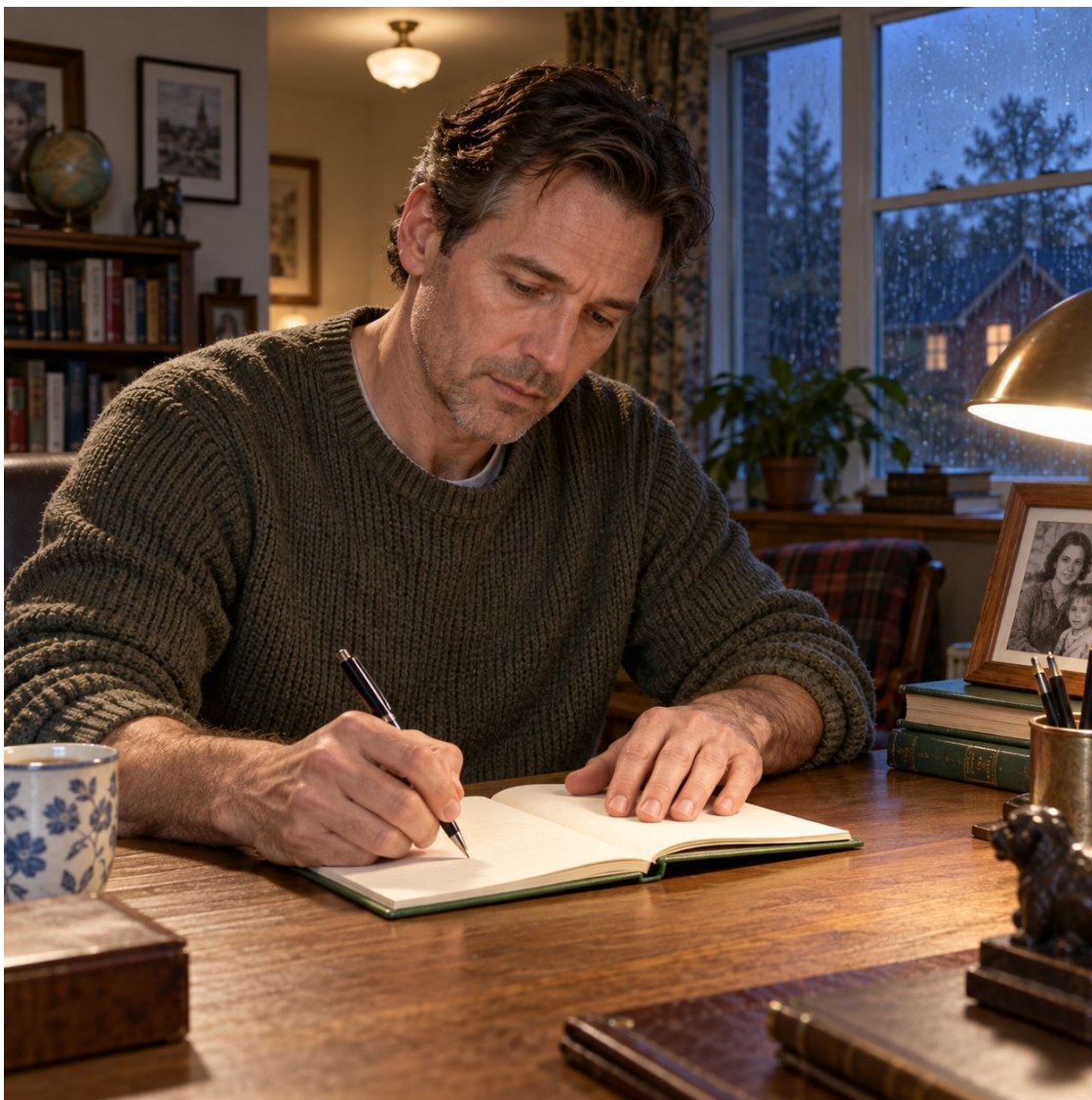
– Пусть проглотят. Захотят – сами достанут.

Катя ничего не ответила, только включила воду сильнее, чем нужно было для двух тарелок. У неё был готов вопрос, тот же самый, что утром в машине, и она проглотила его и на этот раз, третий за один день, и внутри опять осталось что-то жёсткое, как непрожёванное. Она щёлкнула кнопкой чайника, который и без того был горячий, и выслушала, как он послушно

снова принялся закипать, – по-московски, единственным домашним звуком в этом доме, который она понимала до конца.

Наверху скрипнул стул, и стало тихо. Дима сел за стол, зажёл лампу и достал из ящика зелёную тетрадь, с гладкими, не тронутыми чернилами страницами. Он открыл её на первой странице, отвернул уголок, чтобы не заворачивался, взял ручку и с минуту сидел неподвижно, как человек, который знает, что первая строчка в новой тетради важнее всех последующих. Афоризм – это фраза, обглоданная до мысли, подумал он; значит, и строчка должна быть обглодана. В четырёх тетрадях до этой было записано всё, что случилось с ними за шестнадцать лет: первые уроки, даты, короткие строчки, за которыми стояли ночи без сна, и всё это писалось для того, чтобы девочек не нашли. Он посмотрел на чистый лист и подумал, что вот и хорошо, что чистый, и что впервые за шестнадцать лет он открывает тетрадь не потому, что случилась беда.

Потом ровным своим почерком он написал несколько слов и поставил дату:



«Эдинбург. День первый. Начинаем».

Он поглядел на написанное, закрыл тетрадь и положил ладонь на зелёную обложку, будто скрепляя что-то печатью. Внизу тихо, по-московски, щёлкнул остывший и снова закипевший

Катин чайник, и старый каменный дом слушал всё это своим медленным дыханием, ещё не решив, кажется, привыкать ли ему к новым жильцам.

Глава 2. Закон Ментализма

«Человек – существо очень странное. Изначально у него есть все возможности стать творцом своего собственного мира, но он ничего не хочет делать сам.» – Маржсена Горбова

Октябрь пришёл в Эдинбург так, как приходит человек, который здесь живёт и никого не спрашивает: за одну ночь докрасил листву в парках, добавил в дождь ледяную нитку и выставил старое крыло университета до того особого каменного холода, который не столько чувствуешь кожей, сколько ощущаешь без прикосновения. Маленькие чугунные батареи под окнами аудитории честно делали, что могли, и от них поднималось узкое дрожащее тепло шириной в ладонь, но дальше этой ладони власть батарей не распространялась, и студенты сидели в куртках, грея пальцы о картонные стаканчики, а дыхание в первые минуты пары ещё оставляло в воздухе слабый след.

– Я разобралась в этой стране, – сообщила Таня, дыша в сложенные ковшиком ладони. – Они изобрели батарею, испугались, что вышло слишком хорошо, и на всякий случай уменьшили её вдвое.

– Тише, – сказала Тая. – Она тебя слышит.

– Пусть слышит. Может, застыдится и нагреется. – Таня подышала в ладони ещё раз. – Хотя человек тут рождён для счастья примерно как слон для балета.

Тая улыбнулась в кулак и промолчала: спорить с Таней про батареи было так же безнадежно, как спорить с батареями.

Тая заняла своё привычное место у стены, в среднем ряду, и проделала привычный утренний ритуал, который со стороны выглядел как аккуратность, а изнутри был техникой безопасности: положила пюпитр тетрадь так, чтобы локти опирались на неё, а не на голое дерево, поставила сумку между собой и соседним сиденьем и сложила руки поверх страницы. За месяц она выучила это здание, как выучивают крутую лестницу в темноте: где можно касаться, а где лучше не надо. Перила у входа были терпимые, гладкие и почти немые от миллиона рук, стёршего в них всякую отдельную память; дверные ручки говорливее; а вот пюпитры, тёмные, с вырезанными инициалами, дремали чутко, как старые собаки, и просыпались от первого прикосновения ладони. Она даже примерила однажды тонкие перчатки и сняла их в вестибюле, потому что перчатки в помещении задают ровно один вопрос, а на него у неё не было ответа, который можно произнести вслух. Она больше не боялась пюпитров так, как в первый день. Она просто знала правила этого дома, и дом, кажется, начинал догадываться, что она их знает.

Искал вошёл без опоздания и без спешки, положил на стол одну-единственную книгу, маленькую, в вытертом переплёте, и не стал её открывать. Вместо этого он взял мел, подошёл к доске и написал три слова, крупно, наискось, с нажимом, от которого мел крошился:

Всё есть Мысль.

– Это первый принцип «Кибалиона», – сказал он, поворачиваясь к аудитории и отряхивая пальцы. – Герметический трактат, семь принципов, о происхождении которого спорят люди, которым больше нечем заняться. Нас с вами интересует не происхождение. Нас интересует, почему формула, записанная так давно, ведёт себя так, будто её вывели профессора в соседней лаборатории.

Он говорил, как в тот первый день: негромко, с той сухой точностью, за которой не чувствовалось ни свечей, ни благовоний, ни многозначительного придыхания, каким обычно сопровождают подобные фразы люди на обложках цветных книжек. Он произносил «вселенная представляет собой мысленный образ» тем же тоном, каким физик произносит «тело сохраняет состояние покоя», и от этого тона слова отказывались съёживаться до метафоры – стояли в полный рост и ждали, что вы будете с ними делать. Студенты записывали. Кто-то поджимал губы, аккуратно, по-британски, оставляя скепсис при себе. Соседка Тани слева выводила

в тетради ровные скандинавские строчки, а сверху, с задних рядов, доносился тихий, почти неслышимый скрип стула под кем-то, кто опять не записывал ничего.

– Я не буду просить вас верить, что мысль двигает предметы, – говорил Искал, медленно проходя вдоль первого ряда. – Я попрошу о меньшем и худшем. Заметьте, что *два человека, поставленные в одинаковые обстоятельства, живут в разных мирах*. Одному собеседование кажется возможностью, другому расстрелом. Обстоятельства идентичны, реальности не совпадают. Разница не снаружи, коллеги. Снаружи всё одинаковое.

Он остановился у края первого ряда и договорил, обращаясь к доске, будто там сидел третий собеседник, которого этот разговор занимал больше всех присутствующих.

– Доведём до конца. Тот, кто пришёл за возможностью, задаёт свои вопросы и уходит последним. Тот, кто пришёл на расстрел, отвечает коротко, чтобы поскорее закончилось, и уходит первым. Через неделю обоим приходит одинаковое письмо с отказом. Первый прочтёт его и сядет готовиться к следующему собеседованию, второй прочтёт в нём подтверждение того, что он и без всякого письма знал о себе, и будет носить эту бумагу в кармане как справку. Обстоятельства у них общие, жизни разные. Наблюдение это не моё, они сформулированы задолго до меня: человека волнуют его мнения о вещах, сами вещи к делу не относятся.

Вопрос с третьего ряда прозвучал сердито, будто спрашивающий уже принял услышанное на свой счёт и теперь торопился с этим разобраться.

– А если он и правда хуже? Объективно хуже, не умеет и не тянет.

– Тогда он будет хуже в обоих случаях, и мы с вами ничего никому не докажем, – согласился Искал. – Я не берусь спасать каждого силой мысли. Я обращаю ваше внимание на порядок событий: он решил, что не тянет, до того как сел на стул.

Девушка у окна подняла руку и, не дожидаясь разрешения, спросила то, что в этом месте спрашивают всегда, отчего вопрос делается только законнее:

– То есть если я сейчас подумаю, что за окном лето, за окном будет лето?

– Нет, там по-прежнему будет октябрь, и в нём будете вы, думающая про лето. Это, между прочим, две разные жизни, хотя погода в них одна и та же, но одно важное различие всё же будет: даже в октябре вам будет так же комфортно, как бывает комфортно летом.

Девушка хмыкнула и записала ответ дословно, вместе с октябрём, чем показала, что поняла его лучше половины курса, которая ответа не записала вовсе.

Таня сидела рядом с Леной, держа щиты вполсилы, как научилась за месяц, и сквозь них, как сквозь неплотно закрытое окно, тянуло общим настроением зала: прохладное любопытство, островки скуки, чей-то голод, чьё-то «в Кембридже мне такого бы не читали». Скепсис аудитории имел вкус, металлический, как ложка, забытая в чае, и на его фоне голос Искала звучал странно тёплым. Он не боролся с этим скепсисом и не заискивал перед ним; он обращался с ним, как обращаются с тем, что бессмысленно оспаривать. Лена рядом писала мелко и ровно, и от неё, как всегда, шла та чистая тишина, в которую можно было прислониться плечом; Таня и прислонялась, незаметно, локтем к локтю, и понимала, что жульничает, что пользуется человеком как грелкой, и всё равно не отодвигалась.

– Пишите, пишите, – сказал он, поймав чей-то страдальческий взгляд. – Конспект вам не поможет, но успокоит. Это тоже, между прочим, иллюстрация первого принципа.

По аудитории прошёл короткий смешок, кто-то сзади фыркнул в стаканчик, и Тая заметила, что записывает медленнее, чем слушает.

Потом Искал положил мел в жёлоб доски, вытер руку о руку и объявил, что теперь будет опыт, и по аудитории прошло короткое шевеление, какое бывает в цирке перед фокусом.

– Предупреждаю сразу: реквизита я не принёс, потому что он не нужен. Это единственный опыт на кафедре, который не стоил ей ни пенса. Возьмите лимон.

Аудитория подобралась и посмотрела на пустой преподавательский стол, где лежала одна маленькая книга в вытертом переплёте, так и не открытая за всю пару.

– Обыкновенный лимон, какой лежит в магазине на углу: холодный, с плотной пупырчатой кожурой. Возьмите нож и разрежьте его поперёк. Слышите, как он поддаётся? По доске пошёл сок, срез блестит, пахнет так, что щиплет в носу. Теперь отрежьте от половинки дольку, положите в рот и прикусите.

Он замолчал и переждал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы дочитать чужую фразу до конца и обнаружить, что дочитал он её сам.

– У кого сейчас во рту слюна, поднимите руку, будьте добры.

Руки пошли вверх неохотно, как поднимают их люди, которых поймали, потом их стало больше, потом почти весь курс, и кто-то на задних рядах засмеялся над собой в голос.

– Благодарю вас. Итак, лимона нет, ножа нет, а слюна у вас настоящая. Объясните мне, будьте добры, откуда она взялась.

– Условный рефлекс, – сказала девушка из первого ряда тоном человека, которому обидно за физиологию. – Это Павлов.

– Именно так, – кивнул Искал. – Обратите внимание на очерёдность: *сначала образ, потом включилась слюнная железа*. Ваше тело не стало выяснять, есть ли поблизости лимон, оно приняло вашу мысль за донесение с места событий и приступило к работе. С лимоном это смешно. Хуже то, что с завтрашним днём ваше тело поступает точно так же, только над этим уже никто не смеётся.

Таня поймала взгляд сестры и сказала одними губами, без голоса, чему они обе выучились ещё в московской школе, где за разговоры на уроке снимали балл.

– Первый раз за месяц в аудитории стало тихо по-настоящему. Двадцать человек замолчали разом, и выключил их лимон, которого не было.

– Скажи ему, он обрадуется.

– Обойдётся. У него лицо человека, который проделывает это каждый год.

Соседка Тани слева оторвалась от своих ровных строчек, и по тому, как она положила ручку поперёк тетради, стало ясно, что до сих пор она молчала из одной вежливости.

– Простите, но это же обыкновенная психология. Ожидание влияет на поведение, поведение влияет на результат. Про это написано в учебнике первого курса, и никакой герметической традиции для этого не требуется.

– Обыкновенная, – согласился Искал. – Уберите только, пожалуйста, частицу «же». В ней спрятано допущение, будто механизм, у которого есть название, на вас уже не действует. Проверьте это допущение сегодня вечером, оно не переживёт и часа.

Он прошёл вдоль первого ряда обратно, остановился посередине и посмотрел на аудиторию так, как смотрят на людей, которым сейчас скажут неприятное для их же пользы.

– И последнее на сегодня, самое неприятное. *Если мир, в котором вы живёте, собран вашим вниманием, то автор у него вы*. Это звучит как комплимент ровно до той минуты, пока вы не сообразите, что с автора и спрос. Стать хозяином собственной жизни человеку никто не мешает; желающих заниматься этим самостоятельно я на своём веку встретил немного.

Фраза про два мира в одинаковых обстоятельствах уже лежала у неё внутри отдельно от конспекта, там, куда она с детства складывала вещи, которые понадобятся не на экзамене – позже, к чему-то, чему она пока не нашла подходящего названия. Она даже не сразу поняла, отчего у неё вдруг стало тепло под рёбрами, а потом поняла и опустила глаза: за двадцать лет ни один человек – с любого места, откуда говорят с уверенностью, – не сказал вслух ничего, что совпало бы с её опытом хотя бы наполовину. А этот сказал, между делом, не глядя на неё, и пошёл дальше, как будто это было общеизвестно.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.